



А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ

Итальянский гуманизм: Петрарка и Боккаччо

Период Корбаччо и последних дней Декамерона особенно важен для внутренней биографии их автора; вместе с тем он позволяет нам поставить несколько общих вопросов о характере того умственного движения, которое мы называем гуманистическим.

В своей биографии Данте Леонардо Бруни характеризует два рода поэзии: одна поэзия вдохновения, наития, другая, основанная на науке и изучении, соединяющая рассудочность с воображением. Таковой представляется ему поэзия Данте. В основе ее целая энциклопедия средневекового знания, церковно-философского и того, которое гуманисты отвели себе в собственный удел; но все это объединено одной идеей, наука смиряется перед откровением, и не она одна выводит к свету заблудившегося в лесу личных и общественных прегрешений.

Мы не сравниваем Божественную Комедию с пародией Корбаччо, но любопытно, как поставлены в последней отношения науки и религии: из чистилища плотской любви никто не может выйти без верховной помощи, говорит Боккаччо посланный свыше руководитель, но он же указывает ему на «его философию», на его «науку»: они должны были бы научить тебя многому, наставляет он его и снова отсылает его — к музам.

Синтез Божественной Комедии видимо нарушен: светская мысль не растворяется, как прежде, в религиозной, а заявляется рядом с нею. Авторитет церкви не нарушен: Петрарка религиозен, Боккаччо даже суеверен, но развитие новых общественных форм, при разрозненности старых, и поднятый интерес к личной жизни постепенно выдвигают вопросы, на которые чаще слышатся ответы, заимствованные не из сферы освященного церковью научного и этического

предания: вопросы личной нравственности и житейской практики. Жизнь ставит их, светская литература классиков помогает их формулировать; встреча опыта и откровений древности ведет к некоторым обобщениям, пускает в оборот массу новых идей, закупающих своим старым классическим чеканом; критическая мысль крепнет, не приводя еще к новому метафизическому синтезу: на это отвечала христианская догма. Оттуда у Петрарки и Боккаччо и ранних гуманистов бессознательная раздвоенность: средневековой разлад духа и плоти, неба и «миара», обострился для них по мере того, как плоть объединялась с понятием античной красоты, «мир» становился силой; классики по вкусам и инстинктам, христиане сердцем, они вдумываются в Цицерона, мечтают с Платоном, отождествляют Фортуну с промыслом, называют Христа Кюдром, но их религиозный синкретизм останавливается на полу-пути между поэтической игрой и чаянием, воззрения Цицерона поверяются учениями церкви, и в делах веры простец-христианин знает больше Марка Туллия. У этих людей нечего искать какой-либо ясной философской системы; что их интересует — это вопросы этики, психологии, политики: о доблести и благородстве, о фатуме и свободе, о задачах поэзии и лучшей форме правления. В этой области анализ мог идти далеко, видимо не вызывая догматических противоречий и, вместе, обостряя личный критерий — при упадке общественного, традиционного. Обновляется античный культ дружбы, свободно и разумно выбирающий сочувствия, тогда как семья связывает свободу, а в любви плотская страсть заглушает человечность. В нареканиях против женщин и брака у Петрарки и Боккаччо, у веронского гуманиста XIV–V вв. маэстро Марцагайя и еще у Л. Б. Альберти сказывается не столько старческий поворот к мизогиническому настроению средневековых ригористов, сколько болезненный культ ушедшей в себя индивидуальности, самодовольно повторявшей за Горацием: *Nil ait esse prius, melius nil Caelibe vita*¹; храбрый ты человек (*cordatissimum*), пишет Заноби какому-то анониму, что, женившись в молодых годах, надеешься, что тебя хватит и на науку и на жену. Гуманист ищет уединения, любит безмолвные красоты природы — не для общения с небом, как у подвижников христианства, нередко почерпавших в этом искусстве новые силы для служения обществу, любовь к людям ради неба. Гуманисты не альтруистичны: в природу они проектируют самих себя, вынося из уединения обостренное сознание своего «я», своего нравственного и умственного преуспевания, своего благородства, не унаследованного, а приобретенного подвигом мысли. Об этом они громко заявляют, Петрарка и Боккаччо откровенни-

чают своими признаниями, как позже Руссо; безродный Боккаччо и учитель Сент-Прё любят женщин выше себя по положению, права любви поддерживаются в них преимуществами духовного развития, выдвинувшими их из толпы.

Это открывает нам другую, темную сторону вопроса. Как и в эпоху Августа, «*odi profanum vulgus et arceo*» стало теперь лозунгом эгоистической интеллигенции: она по призванию аристократична, не смотря на частые восхваления народной свободы, высокомерно гадлива к толпе. В сущности равнодушная к вопросам политики, она невольно тянет к той другой форме индивидуализма, которая выразилась в культурной тирании, но в этой связи гуманист лишь редко находил обеспечение личной свободы: приходилось поступаться человеческим достоинством, и самосознание гражданина невольно бледнело перед культом личной славы,

Sanza la qual chi sua vita consuma
Cotal vestigio in terra di ee lascia
Qual fammo in aere od in acqua la schinma².

Она вдохновляет венчальные речи Петрарка и Заноби да Страда, ею грезит Боккаччо; лавр окружен новым культом, это живой символ, в котором у Петрарки растворяется и любовь. Венчание литературных произведений (как было с *Ars dictandi* Буонкомпаньо) и поэтов становится модой: в 1215 году Муссато удостоился за свою *Esserinis* лаврового венка и поднесения козлиной шкуры — символа трагедии; Петрарка увенчан на Капитолии; Карл IV венчает Заноби да Страда — и всемилостивейше присваивает потешнику Дольчибене титул «короля итальянских буфонов и гистрионов». «Великие люди» на очереди, о них пишут Петрарка, Боккаччо, Гульельмо Пастренго, Филиппо Виллани, Доменико Бандино. Это влияет на историографию — едва ли в смысле прогресса: вместо внешней хронологической связи летописного рассказа с его провиденциальным прагматизмом — является ряд казовых биографий, прагматизм выражается в морализации, в рассуждениях о форме и славе; личный этический критерий переносится и на историю: народы падают, когда развиваются роскошь, гордыня и зависть, говорит Петрарка в письме к генуэзскому дому; такова точка зрения и учительных трудов Боккаччо. — Слава возбуждает восторги, соревнование, риторические похвалы и резкие проявления самолюбия и ложной скромности, среди постоянных жалоб на зависть и наивных заявлений, что слава, бессмертие в руках поэта, который может их дать.

Дружба, слава, зависть — вот общие места гуманистических размышлений; особенно Фортуна. Ее все ищут, жажда знания принимается нередко за сознание необъятных сил, а это создавало новые права на жизнь, требовало новых путей и нового выражения. Оттуда беспокойное искание, жажда передвижения, напр. у Петрарки; молодой равнец, ученик Донато дельи Альбанцани, поступает в 1360-м году к Петрарке, приводит в порядок его *Familiares*, за что безуспешно брались другие; служит ему переписчиком и учится; серьезный, как старик, необычайно талантливый, с громадной памятью, он в одиннадцать дней усвоил Буколику своего наставника и сам успешно подражает классикам. Петрарка, в восторге, пророчит ему блестящую будущность, а ученика уже тяготит его скромная доля: у него еще не отросли крылья, а он мечтает о Риме и Неаполе, о Калабрии и Константинополе, где он научится греческому языку; об Авиньоне. Дважды покидает он Петрарку в поисках за счастьем и теряется из виду на столько, что мы до сих пор не в состоянии отождествить его с кем либо из гуманистов нарастающего поколения. — Для иных искание кончалось если не искательством, то тихой пристанью хотя бы в хлебной должности секретаря папской курии; и там явился спрос на гуманистов, классиков нового пошиба.

Особое увлечение материалом классического знания совпало для Италии с той исторической чередой, когда разложение старых систем, папства и империи, вызвало повсюду сознание национализма, политического и культурного. В Италии политическое единство не удалось, но чем резче била в глаза неурядица общественного строя, тем яснее выступало сознание культурного единства с старым Римом, как народным прошлым, которое понимается и живет и цельнее, потому что мысль освободилась от наивного синкретизма средневекового с античным, а эрудиция заглядывает во все уголки древности, проникается ее мировоззрением, интересуется ее бытом и искусством, и не одними лишь легендами, но и реальными памятниками Рима. Для знатока истории Италия выше того, чем представляет ее себе современное поколение, говорит в своей венчальной речи Заноби да Страда; под историей разумеется, очевидно, римская, ибо что такое история, если не слава, хвала Рима? В его славном прошлом, где золотой век империи уживался с доблестями республики, культурному человеку жилось привольнее, и он охотно уходил туда воображением; это приучало его в древности искать идеалов, которыми измерялась современность, чутье действительности слабело перед героизмом Сципионов и на почве практического индифферентизма возникали теоретические обобщения, наука по-

литики, результат не столько опыта, сколько классических чтений. Оттуда беспочвенность иных политических взглядов; оттуда частые заявления Петрарки о римлянах, как «предках», и его стыд поведать Цицерону об упадке современной Италии; оттуда сознательное предпочтение латинской речи итальянской, и элегическое чувство антика, и огульное осуждение своих же средних веков, как веков насилия и крови, когда люди забыли — поэзию.

Поэзия — это показатель вообще умственного, идеального содержания классической древности; ее откровение — человечность, гуманизм; чем выше она ценится, тем презрительнее отношение к хлебным, неидейным занятиям, как у романтиков, в *mechanicae artes*³, имеющих ввиду одно лишь тело, тогда как свободные искусства питают душу. Буржуа ненавидят литературу (Флобер): это эриколы, стяжатели Боккаччо; церковные люди видят в поэзии один соблазн — и гуманисты гурьбой восстают на ее защиту. Практике жизни они противопоставляют удаление от дел, потому что поэзия — тоже дело, серьезная задача жизни, в ней вычитывают небывалый, таинственный смысл, чтобы поставить ее в уровень с своими внутренними требованиями. Здесь гуманисты двоятся: они ищут в поэзии иносказания (то есть, чего-то существенно не поэтического), и вместе с тем ее античные образцы воспитывают в них новый художественный критерий, чуткость к изяществу линий и психологического анализа, и они вторят ее образам и выражениям, нередко и мишурному блеску фразы. Аллегористы старого, средневекового пошиба, антично-юные своим восторженным реторизмом, они воображают себя латинскими поэтами, но поэзия, о какой они мечтают, требует успокоенного жизненного синтеза, хотя бы архаического, как у Данте. Вот почему так бедна их латинская Сапфо; сонеты Петрарки, Декамерон Боккаччо многим обязаны их классическим чтениям, но вдохновение этих произведений стоит вне той обострившейся гуманистической программы, которая побуждала Петрарку рисоваться пренебрежением к своей итальянской музе, а старика Боккаччо видеть в Петрарке-латинисте восстановителя истинной поэзии. Она заглохла в Италии со времени великих классиков, говорит он, в средние века ее искра таилась в нескольких ничтожных латинских поэтах (из которых не все принадлежат Италии): Катоне (вероятно, Дионисии, авторе *Dictamina*), Проспере (аквитанском), Памфиле и Арригетто (да Сеттимелло, авторе *De Diversitate Fortunaе*⁴). Боккаччо забыл — всю итальянскую поэзию до Данте: Данте будто бы первый отважился вкусить от медоточивых струй, забытых в течении веков, хотя шел он и не путем древних, а не-

обычной околицей; снова побудил он дремотствовавших муз и Феба к песням на родном языке, не плебейском и простонародном, как полагал иные, ибо он искусно углубил смысл его речений. — Подразумевается аллегоризм Данте, он один и спасает его итальянскую речь от обвинения в простонародности; лишь Петрарка вступил на древний, настоящий путь, восстановил Аполлона на его престоле, вернул пиэридам их прежнюю красу. Очевидно, не автор *Canzoniere*, а поэт Африки. Так мечтал о себе и Петрарка.

Таково мирозерцание раннего итальянского гуманизма, кульминирующего в Петрарке и Боккаччо; он было выражением национально-культурной идеи при политической слабости и росте личного сознания. Многие в его типах и общих местах, если не стремлениях, напоминает латинских поэтов западных, главным образом, французских школ XII — XIII веков: та же исключительность литературных вкусов, то же увлечение классической поэзией; аллегоризм, играющий отождествлениями Юпитера с христианским Богом, и кокетливое подражание приемам древней реторики в декламациях, описаниях; те же идеи славы, боязнь зависти, нареkania на Фортуну — и болезненность самосознания, уединяющегося от толпы в пессимизм, который питает сатиру. Все это навеяно выборками из чтений, отзывается затхлостью школьного кружка, его расходившимися самолюбиями и наивным представлением, что поэзия прежде всего — труд; труд грамматика, центониста. Еще у Боккаччо слышно это представление, но он же подсказал и возражение Петрарки: что выше труда — талант, вдохновение. Чего недостает тем школьным поэтам — это не столько вдохновения, сколько широкой подкладки, заставляющей нас ощущать явление итальянского гуманизма, как народное, навеянное не школой, а условиями культуры. Его родословной надо искать на итальянской же почве, в типах и течениях, уследить которые дело будущего историка. В эпоху от учеников Сенеки старшего до Симмаха он встретит на почве Рима такой же болезненный культ литературной профессии и то же чванное самосознание литератора при ослаблении других социальных интересов. Грамматики светской школы, от готской эпохи до Ансельма Перипатетика продолжают этот тип в противоречии с общим течением средневековой мысли. Блюстители классического предания, проникнутые светскими интересами, они идут в уровень тех культурных слоев, которые участвовали в паганиях короля Гуго, проникались чисто-языческим настроением такой пьесы, как: *O admirabile Veneris idolum!*⁵ (не позже VII века), а в VIII–X веках вызывали упреки ревнителей в нравственной рас-

пущенности, гражданском безразличии, слабости религиозных интересов — темной стороне индивидуализма, не сдержанного авторитетом сильной власти и глубокого верования; тех слоев и настроений, которых не сломила реформа XI века, потому что она была церковная, не общественно-религиозная.

Это уже то движение, которое мы назовем гуманистическим, когда в нем явится сознание критерия и материал классической мысли и идеалов будет служить целям не грубого переживания или грамматической забавы, а личного обновления. Обновления на почве родной старины, как в программе романтиков. Северно-европейский романтизм сбросил с себя века преданий и фикжм, чтобы обновиться в природе, в свободной народной старине, или в том, что казалось народностью, со включением католичества. Гуманизм, в период своей сознательности — это романтизм самой чистой романской расы, перед которой открылась обетованная земля и забытые народные основы. «Ужасное начало», «неприступная гора», казалось, миновали, за ними очутились «прекрасная, чудная поляна», и путники любят ее тем более, «чем более было труда при восхождении и спуске».

Такой именно вековой процесс мы вправе предположить, он совершался постепенно, ускользая от глаз; вот почему яркие образы Петрарки и Боккаччо поражают нас, являясь в конце неосвященной перспективы.

В нее мы не заглянем; нашей ближайшей целью было бы узнать, кто были сверстники этих деятелей, близко стоявшие к ним по возрасту, прошедшие школу не у них и тем не менее приготовившие себя к их влиянию. Такая постановка вопроса выяснила бы нам в общем движении долю массы, спрос времени и меру личных воздействий.

Разумеется, мы не ожидаем великих откровений: забытое историей обыкновенно забыто по праву, но оно должно быть поставлено в счет именам, удержавшимся в исторической памяти. К сожалению для ответа не хватает материалов, генезис скрывается за результатами, на которые вожди уже наложили свою печать. Движение широко обняло всю Италию, коснулось разных профессий; немногочисленные письма Боккаччо скупы указаниями. В числе его неаполитанских учителей и покровителей мы видели людей старой школы, вроде Дионисия из Борго Сан Сеполькро и короля Роберта, эрудитов в стиле Паоло из Перуджии, но они не яркие представители того увлечения латинскою древностью и литературой, которое становится впоследствии казовым признаком гуманизма.

В поколении до Петрарки их нужно искать в Конвеневоле из Прато, его учителя, в аретинском грамматике Бандино († 1348), судя по восторженным отзывам о нем его сына, Доменико; в университете с Джьованни ди Вирджилио, автором эклог и аллегорических толкований на Овидиевы *Метаморфозы*, сетовавшем на то, что Данте не предпочел написать свою *Божественную Комедию* по латыни; в ученом нотариате, игравшем такую роль в культурном развитии Италии — с падуанским юристом и поэтом Ловато Ловати, которого так высоко ставил Петрарка, с его младшим современником Альбертино Муссато, автором первой известной нам трагедии сенековского типа, *Ессеринис*, с племянником Ловато, эпиграфистом Роландом да Пьяццола. Отметим для Виченцы поэта и историка Феррето деи Феррети и юрисконсульта Джери из Ареццо.

К ним-то примыкают молодые гуманистические кружки; мы познакомились с одним из них, неаполитанским, и его представителем Барбатто; его характеристика может быть вменена всему движению. Тому же движению принадлежат, вероятно, и Чекко деи Росси из Форли, и Пьетро де Мульо или де Реторика, приятель Петрарки и Боккаччо, частный преподаватель реторики в Болонье в половине 40-х годов, позднее, около 1360-го, известный профессор в Падуе. Боккаччо поздравлял его с этим переходом, направляя к нему двух учеников, жаждавших его наставлений: один из них, Джьованни из Сиэны, молодой учитель грамматики в флорентинских школах, человек бедный, которому Боккаччо просил оказать помощь, приискав ему занятие репетитора; другой — приор из Чертальдо, Актеон, обратившийся в оленя, шутит Боккаччо; он и направил его от собак и ястреба в школу к тому же Джьованни; еще не многому научился Актеон, но уже стыдится возможного неуспеха и потому последовал за своим учителем; пусть и на него Пьетро обратит свое внимание во имя дружбы к пишущему и к достославному Франческо Петрарке, их общему наставнику.

Более материала для характеристики гуманистического движения, совместного с Боккаччо и Петраркой, представляет обширная переписка последнего; но это материал внешний, свидетельствующий о широте, не о содержании движения. Перечисление имен было бы недоказательно; мы выберем немногие. В Парме живет, в доме Корреджи, нотариус Моджьо деи Моджи, в качестве секретаря и воспитателя молодых Джиберто и Аццо; Петрарка переписывается с ним, у них общие литературные друзья: Нери Моранди из Форли, Габрюле Заморео, автор трактата *de Virtutibus*⁶, Ринальдо да Виллафранка, венецианский канцлер Бенинтенди, с которым Петрарка

сблизился со времени своего посольства в Венецию в 1353 году. О бергамском грамматике Кроте, доставившем Петрарке список Тускулан, шла молва, что лучше его во всей Италии никто не знает Цицерона; с веронским нотариусом, Гульельмо Пастренго, автором *De viris illustribus*, Петрарка знаком с Авиньона и нередко пользуется сокровищами его библиотеки. — Во Флоренции возлагали большие надежды на Бруно Казини: он был мастером в искусстве реторики, но его унесла ранняя смерть († 1348); Петрарка был с ним в переписке, но во Флоренции его поджидала группа других, более ярких гуманистов, с которыми мы встретимся впоследствии.

Увлечение классиками становилось манией, над которой Петрарка иронизирует: юрисконсульты, медики, забыли Юстиньяна и Эскулапа, их ошеломили имена Гомера и Виргилия; плотники, валяльщики, крестьяне бросили свое дело и толкуют о музах и Аполлоне. Однажды, по дороге в Виченцу, Петрарку задержали его друзья для беседы о Цицероне, причем какой-то старик стал упрекать поэта, что он слишком мало ценит великого оратора. Цицерон — и домашняя, средневековая латынь Бенвенуто из Имолы, свежая и оригинальная в своем *laissez aller*⁷; схематическая *Ars dictandi* или *notaria*, отзывающаяся еще у Нелли — и блестящий при всей своей неровности стиль Петрарки и его письма, создавшие гуманистическую эпистолографию по типу Сенеки и посланий Цицерона, — вот контрасты, из которых выходили к требованию стилистического пуризма. У таких мечтателей, как Кола ди Риенцо, полного иоахимитских идей и веры в пророчества Мерлина и Телесфора из Козенцы, мания древности переходила в фантастическую практику; гуманистов она заражала поэтическими восторгами: они поют в запуски, как Боккаччо и Чекко деи Росси, как Моджьо, вызвавший укор канцлера Бенинтенди: Ты, слышу я, все слагаешь стихи и песни, день-деньской взвешиваешь слова и слоги, только и занимаешься, что словами и речениями. Что за детские шалости!. Все бросились писать эклоги, послания, но всем мерещится нечто большее, откровение эпоса, героическая латинская поэма с римским сюжетом. Посчастливилось Сципиону: Боккаччо представил его в беседе с Аннибалом, переложив в сонеты соответствующий текст Ливия, Петрарка сделал его героем поэмы, с которой носился в течение всей жизни, Заноби да Страда также намеревался воспеть его, но оставил, как и Пьетро да Мульо бросил затею поэмы — о приключениях Анны по смерти ее сестры Дидоны. Не даром Каллиопа, торжественная муза эпоса, является представительницей поэзии вообще, со включением драмы, хотя для нее именно не было воз-

рождения: предание античной сцены давно заглохло, и это привело в средние века к тем странным взглядам на значение трагедии и комедии, которые отзываются в названии Дантовской поэмы, повторяются и у Боккаччо; к представлению, что драма назначена для чтения, как у Муссато; к смешению с другими поэтическими родами, комических поэтов с Овидием и т. д. Когда противники гуманистической поэзии, обобщая или не понимая Боэция, приводили его отзыв о музах, как сценических прелюбодейницах (*scenicae meretriculae*), гуманисты чувствовали право защиты, но терялись в средствах. Тем ожесточеннее их нападки на сценическую поэзию: они отождествляли ее с проделками площадных потешников, наследников старых мимов, спустивших значение драматического действия до того уровня, который так откровенно выразила старонемецкая глосса: *tragoedia — hurehaus*⁸. Таким отождествлением думали спасти поэзию героическую, ученую. — Рядом уже развивался народно-духовный театр *laudesi*, но Каллиопа проходила мимо него безучастно.⁹

Все это лихорадочное возрождение светской латинской литературы предполагает не только усиленное чтение классиков, но и новое к ним отношение. Это возвращает нас к Боккаччо: в его образовательной программе много личного, но в общем она характеризует путь, по которому люди его поколения выходили из средневекового энциклопедизма к гуманизму.

Кто в наши дни хочет быть философом (*odierno filosofo*), тому нет нужды обладать всеми науками тривия и квадживия, выразился однажды Боккаччо, достаточно владеть одной, в других ограничиться энциклопедическим образованием. Особенности последнего объясняются в нем случайностями воспитания. В Неаполе он пристрастился к астрономии и астрологии, под руководством Андалоне и его арабских источников, которые он нередко цитует; он прошел юридическую школу, и следы его подневольных занятий остались; в связи с его астрономическими интересами стоит, быть может, его любовь к географии, засвидетельствованная книгой *De Montibus*. Или это интерес времени, как и у Петрарки? Ведь и он готовит большой географический труд, ссылается на древние карты, составил вместе с королем Робертом первую карту Италии — и пишет (вероятно, до 1363 года, может быть, в 1361 году), по просьбе некоего Джьованни ди Манделло, сбравшегося к святым местам, свой *Itinerarium Syriacum*¹⁰.

К этому присоединились и другие чтения: *Collectanea* Паоло из Перуджии раскрыли перед Боккаччо богатство классического

мифа, он увлечен римскими поэтами, их «священными стихами», достославными памятями древности»; классические воспоминания заполнили его, а вместе с тем он чуток к поэзии рыцарского романа, бродячей сказки, дантовского видения; эта ранняя черезполовица характерна как для него, так и для его публики. У Петрарки не встретишь того пестрого смешения романтических и классических сюжетов, как в *Филоколо*, народной шутки, заговора и песни в оправе цicerоновского периода, как в *Декамероне*. Боккаччо освобождается от этого синкретизма по мере того, как критик-эрудит брал в нем перевес над поэтом. Не раз рассказывал он легенды о началах Флоренции и Фьезоле, колеблясь, вместе с хрониками и старыми комментаторами Данте, между именами Аттилы и Тотилы; в биографии Данте Аттила назван царем вандалов; в комментариях к Божественной Комедии сделан шаг вперед: Боккаччо справился в *Historia miscella*, которую цитует под именем Павла Дьякона¹¹, и различает Аттилу от Тотилы, но первый все еще царь готов и разрушитель Флоренции. Впрочем все это поставлено на ответственности легенды, с сомнениями: так утверждают. — Герои карловингского эпоса и Круглого стола являлись в *Любовном Видении*, но в *De Casibus* легенда об Артуре рассказана хотя с симпатией, но с замечанием, что о нем нет достоверных свидетельств; троянское происхождение французской королевской династии вызывает в *Генеалогиях богов* ироническое замечание: что-то не верится, хотя я и не решаюсь это отрицать; но подобное же притязание бретонцев кажется неверным и невероятным. Французские романы содержат много прекрасного и похвального, но в них более фантазии, чем правды, и вот, передавая предание о Вильгельме Оранском и о том, как в одну ночь чудесным образом явились на поле битвы гробницы для павших христиан, Боккаччо заявляет прямо, что не верит тому, что то были, по всей вероятности, гробницы, которые местные жители приготовили для себя, как то часто бывает. Отрицание средневековой легенды переходило к критике легенды вообще.

Собственно средневековая литература занимает в чтениях Боккаччо невидное место, его интерес к ее содержанию настолько слаб, что он ищет у ее писателей, Беды, Гервасия Тильберийского, Исидора Севильского и др., главным образом сведений о римских древностях, мифологических подробностей; у Рабана Мавра, Угучьоне, Папии — этимологий; энциклопедии привлекают его, как сборники фактов, история своей эпической канвой, биографией; в средневековой латинской поэзии он не начитан. Слабее всего представлены богословие и схоластическая философия: Боккаччо цитует

Св. писание и Отцов церкви, пользуется Августином и Иеронимом, но к изучению богословия (*sacra volamina*) он обратился лишь в зрелые годы и оставил, потому что не чувствовал в себе таланта (*tenuitas ingenii*); в богословские вопросы он пускается лишь по необходимости, напр. в толкованиях на Божественную комедию, чаще устраняется от них; к вопросам философии он видимо равнодушен, оттого так редки ссылки на схоластиков. У Петрарки с половины 50-х годов этот интерес сильнее, но он сходится с Боккаччо в том, что ни у того, ни у другого богословие и схоластика не являются в роли, какую они играли в средневековой энциклопедии: точкой отправления, моментом цельности, объединявшим всю систему знания. Этой цельности тот и другой ищут по своему, в их научных работах преобладает момент вопросов, личных или принципиальных, которые они ставят себе в целях самоопределения. У Петрарки получаются трактаты на общие темы, в которых фактически материал подчиняется общей философской идее, она и иллюстрируется выборками из классиков; у Боккаччо этот материал бьет в глаза, он видимо интересуется сам по себе, элемент поучения часто навязан, но он обязателен; автор Декамерона сказывается не только в дидактике, но и в эрудите, собирателе биографических данных и мифов.

В том и другом случае главным источником были классики. В начале 50-х годов — мы в эпохе Корбаччо — и Петрарка и Боккаччо интересовались греческой древностью издалека, платонически; у Варлаама они мало чему научились, второй наставник Боккаччо, Леонтий Пилат, еще не являлся на сцену с откровениями Гомера. Оттого сведения Боккаччо о греческих писателях оказываются почерпнутыми из латинских переводов (Аристотель, Иосиф Флавий, платоновский Тимей), либо взяты из вторых рук, зато латинские знакомы ему почти во всем доступном тогда объеме, хотя и здесь встречаются ссылки на чужие указания и — понятные недочеты. Боккаччо не знает напр. Плиния старшего, которым пользуется Петрарка, зато в его библиотеке есть Тацит и Колумелла, которых Петрарка не цитует. Из поэтов ему известны: Плавт и Теренций, Вергилий с его комментаторами Сервим, Макробием и Фульгенцием; Овидий, Гораций, Лукан, более историк в стихах, чем поэт; Стаций с объяснениями Лактанция Плацида, Персий, Ювенал и др.; из прозаиков Цицерон и Сенека; историю представляет Юлий Цезарь, «комментарии» которого Петрарка и Боккаччо приписывали Юлию Цельзу, Ливий (кроме 33-й книги, оставшейся неизвестной и Петрарке), Тацит, Саллюстий, Светоний, Флор, которого Петрарка считал образцом исторического стиля, Юстин, *De Viris Illustribus*

Псевдо-Плиния, которые Петрарка знал под этим именем; как и у него, Квинт Курций, Дарет и Диктис еще идут за историков. Географические и естественно-исторические сведения почерпаются из Помпония Мелы, Вибия Секвестра, Солина; не забудем анекдотистов Валерия Максима и Авла Геллия; Апулея, в котором Боккаччо ценил не только рассказчика, но и аллегориста-философа; мифологические сведения и их иносказательные толкования шли из комментаторов, из Фульгенция, из так называемого третьего ватиканского мифографа, которого Боккаччо и Петрарка цитуют над именем Альберика, наконец из загадочного Теодиция, которого Боккаччо читал, в целом или частями, в списке Паоло из Перуджи. — С Лактанцием, Боэцием, Орозием мы уже вступаем в область христианско-латинской литературы, и далее в средние века; из новейших писателей выделены Брунетто Латини, особенно Данте; Франческо да Барберино и Виллани; Леонтий Пилат, как посредник с греческой древностью, и Петрарка, как вступивший на древний путь «латинской образованности».

Таков был объем начитанности Боккаччо, над источниками которой так много потрудился Hortis; мы не входили в подробности. Классики преобладают, но нового материала прибыло не на столько, чтобы характер гуманистического направления можно было определить этим именно приращением. Все дело в том, что начинают читать иначе; ведь и сокровища эллинизма покоились в южно-итальянских греческих монастырях непочатые и не вскрытые, пока на них не явился спрос. Цицероновский культ Петрарки, доходивший до крайностей у людей, стоявших вне его кружка, указывает, на то, что из классиков перестали только вычитывать, а что в них вчитываются, вживаются, что они становятся ценными не только по сведениям, которые можно из них добыть, но и сами по себе, как живые, близкие лица, которых любят и желают понять, но с которыми и судятся. Письма Петрарки к великим людям древности, Цицерону и Вергилию, Горацию и Гомеру внушены не только риторическими целями, но и потребностью высказать свой личный взгляд, восторги и осуждение, и интимные вкусы, которые сообщаются на ушко приятелю. Для Петрарки Вергилий, в самом деле, «наш» Вергилий, общество древних мыслителей ему милее беседы с людьми, воображающими, что они живут, потому только, что на холоде они ртом испускают пар; Цицерон ему современник, он любит его, проникается его взглядами, то спорит, то журит. Критика чередуется нередко с наивным пафосом, связана, особенно у Боккаччо, типическими определениями, принятыми на веру,

завещанными школой. Он повторяет за Валерием Максимом, что, по мнению Афинян, Цицерон превзошел не только Пизистрата и Перикла, но и Платона, Эсхила и Демосфена; его Virgilius, которого и по знакомству с Гомером он считает не ниже его, носит печать поздних комментаторов и еще более средневекового предания: это легендарный девственник, маг и философ, скрывший под личиной своих стихов глубокие тайны. Боккаччо не верит в Virgilius — провозвестника Христа; Петрарка отрекся не только от этого взгляда, но и от Virgilius мага. Боккаччо верит в христианство Боэция аллегориста Фульгенция и Сенеки — на этот раз в противоречии с Петраркой; различая двух Сенок, трагика и моралиста, он разделяет общее мнение того времени, что Клавдиан был родом из Флоренции¹²; смешивает, вместе с Петраркой и Нелли, Стация поэта с соименным ритором из Тулузы, путает двух Лактанциев¹³, как Петрарка Викторина ритора с мучеником и Варрона поэта с историком.

Это не недостаток критики, а недочет фактических подспорий; именно в Петрарке и Боккаччо увлечение классиками шло об руку с развитием критического инстинкта, выразившегося в стремлении выделить любимых авторов из всего того, ненужного, чем наделили их средние века. В этом им помогало связное, обильное чтение текстов, чутье стиля, большее знакомство с историей и бытовыми отношениями древности, особенно критика рукописных текстов. Во всех этих отношениях Петрарка был если не начинателем (вспомним в каролингскую пору хотя бы Сервата Лупа), то пропагандистом. Первый в Италии он указал на анахронизм, соединивший Энея с Дидоной, он сам хвалится этим открытием, и Боккаччо постепенно увлечен к новой вере: в своих юношеских произведениях он не раз пел про любовь Дидоны к Енею, но поэзия сюжета не спасла его; еще в *De Claris Mulieribus* есть попытка помирить поэзию с историей: Дидона будто бы убила себя в присутствии невиданного дотоле Енея, чтобы сохранить верность покойному мужу; позже оставлена и эта комбинация: Дидона не могла и видеть Енея, ибо не была его современницей. Преимущество отдается достоверному историческому факту, Титу Ливию и Юстину перед Virgilius; из Юстина черпаются сведения об Амазонках — и Тезеида забыта.

Это уже победа критицизма, хотя в силу вещей критерий нередко оставался произвольным, рационалистическим, наивно удовлетворяясь фразой, когда напр. Боккаччо пристаёт к мнению тех, которые отождествляли Артемизию с Артемидорой, ибо одно ли это лицо, или нет, во всяком случае дело идет о женщине¹⁴. Так надгробная

надпись будто бы Ливия, открытая в Падуе в 1318–24 годах, не вызывает в нем большого доверия, и в то же время он пользуется, хотя и не откровенно, отражениями Псевдокаллисфенова романа¹⁵, цитует Диктиса¹⁶; его вера в аллегорические бредни Фульгенция чередуется с замечаниями, трезвыми в своей рассудочности: что Фульгенций часто переходит через край, всюду открывая возвышенный, таинственный смысл, тогда как история говорит — то-то; но эти замечания не умаляют «должного уважения» к автору. То же смешение критики и умиления перед авторитетом по отношению к Августину, к Беде. С позднейшими писателями, вроде Гервасия Тильберийского, можно было обращаться не так церемонно, им противопоставляют «более достоверные источники», Папие — авторитет Исидора Севильского; зато, когда на сцену являлись такие загадочные писатели, как Теодонций, с цитатами из неизвестных авторов, такие живые носители древнего знания, как Варлаам и Леонтий Пилат, критика смущалась и перевес брали восторги перед неизвестной величиной. В таких случаях Боккаччо не прочь был согласиться с Теодонцием против Цицерона и Исидора, но и колебался и недоумевал, предоставляя людям более мудрым согласить противоречия.

Этим сомнениям, тормозившим рост критического такта, вторила уверенность, что из сокровищ классической литературы многое, ныне утраченное, неизвестное, еще может объявиться. Петрарка с грустью перечисляет в послании к Цицерону его сочинения, потерянные для потомства; но каждый день мог принести и приносил новые открытия в пыли монастырских библиотек. Все деятельно ищут рукописей, Петрарка выслеживает их не только в Италии, но и во Франции и Германии, Англии и Испании, даже в Греции. Боккаччо рассказывал Бенвенуто из Имолы о своем посещении Монте Кассино: он попросил монаха указать ему, где их книгохранилище; тот показал на лестницу: полезай, оно отперто. Наверху оказался покой, дверей не было, окна обросли травой, на книгах и полках груды пыли. Полный удивления Боккаччо стал перелистывать старые, редкие рукописи; в иных не доставало тетради, у других обрезаны поля. Он удалился, опечаленный мыслью, что творения стольких высоких умов попали в руки таких невежд; в монастыре ему объяснили, что монахи вырывали из рукописей листы, чтобы писать на них дешевые псалтыри для мальчиков и амулеты (*brevia*) для женщин. Ломай себе голову, ученый муж, и пиши после того книги! заканчивает свой рассказ Бенвенуто.

Рукописи попадали наконец в руки интересующихся, но прежде чем пойти в оборот, новый классический текст ставил тотчас же и новые задачи для критики. Он часто был неисправен, остроумие Петрарки помогало ему, оттого такой спрос на тексты, им сверенные; Нелли от них в восторге. Часто неточное заглавие, поставленное переписчиком, сводило с торного пути: Петрарка долгое время мнил себя владельцем Цицеронова Гортензия, пока не открыл, что это часть Академик. Списывание рукописей вызывало теперь усиленное требование дипломатической точности: толковых переписчиков мало, пишет Петрарка к Лапо ди Кастильонкио, наука от этого страдает, ибо благодаря неисправным копиям произведения, сами по себе трудные для понимания, стали совсем непонятными, ими начали пренебрегать и они затерялись. Все жалуются на писцов, в Италии эти жалобы стары; иные из ошибок и — измышлений Боккаччо прямо объясняются плохим состоянием его текстов: оттуда напр. смешение *Berenice* с *Laodice*¹⁷, портрет Калипсо — когда дело шло о художнице этого имени, небывалая Марция, дочь Варрона¹⁸ — и целый ряд других ошибок, объяснимых описками. Вот почему сам Петрарка усталой рукою берется за перо, чтобы переписать цицероновские речи, доставленные ему приятелем: никакой другой автор не дождался от него подобной чести. Но Петрарка был человек состоятельный, Боккаччо стеснялся средствами, и ему приходилось самому удовлетворять своему литературному спросу: такова была у него потребность к чтению, что он списывал для себя все, что только мог найти из римских поэтов, ораторов и историков. Мы знаем, что уже в Неаполе он обзавелся Фиваидой Стация; в письме к Заноби от 1348 года он говорит о списках Дионисия и Варрона, которых ожидает; Петрарке он посылает в 1355 году великолепный экземпляр бл. Августина и некоторые сочинения Варрона и Цицерона, собственноручно переписанные; ему же в 1359 году Божественную Комедию при посвятельном письме, позже копию гомеровских поэм в переводе Леонтия Пилата. Может быть, собственноручный список Тацита имел ввиду Боккаччо, когда в письме к аббату *di Montefalcone* от 1371 года просил его о возвращении одной тетради, дабы не испортить его труда и еще более не обезобразить книгу.

Так составила у Боккаччо целая библиотека, которой он видимо дорожил, потому что в своем духовном завещании выключил ее из того имущества, которое могло бы быть продано для покрытия его долгов. Библиотеку он завещал монаху августинского ордена, монастыря *San Spirito*, магистру богословия Мартину из Синьи, тому самому, к которому обращено послание с аллегорическим

объяснением его эклог; пусть брат Мартин пожизненно пользуется его книгами, дает пользоваться и другим, а за его душу молится, по своей же смерти передаст те книги в монастырь San Spirito, где они должны храниться в особом шкапу (armario), на чтение и занятие инокам, и им надлежит составить инвентарь. Вступив в наследство, брат Мартин жил среди книг, с гордостью показывая их своим друзьям; после его смерти (1387, 10 июля), сложенные в шкапы и ящики в монастыре San Spirito, они долго лежали без особого призора и, очевидно, расхищались, пока Никколо Никколи, с целью оградить их от дальнейших утрат, не устроил для них в монастыре особого помещения, которое и называли впоследствии «библиотекой Боккаччо». Часть рукописей, ему принадлежавших, вошла в инвентарь монастырского книгохранилища 1451 года; пометки против некоторых его номеров указывают, что хищения продолжались, но еще в конце XV века библиотека Боккаччо существовала, пока с закрытием монастыря в пору французской оккупации и его книги не разбрелись по рукам вместе с другими монастырскими. Так приписываемый руке Боккаччо экземпляр Теренция, с анекдотом о Гомере и греческой эпиграммой о городах, считавшихся его родиной, принадлежал несомненно к коллекции San Spirito, может быть, и автограф Боэциева *De Consolatione*; в амвросианской библиотеке есть экземпляр латинского перевода Этики Аристотеля с комментариями Фомы Аквинского и отметкой, что переписчиком был Иоанн из Чертальдо; им же переписаны были эклоги Кальпурния; в инвентаре библиотеки Лоренцо деи Медичи помечено: Книга сонетов и канцон Петрарки на пергаменте, писано рукой Боккаччо.

Интереснее два сборника, вероятно, принадлежавших Боккаччо: один из них содержит, между прочим, поэтическую корреспонденцию Данте с Джьованни ди Вирджилио и несколько стихотворений последнего; подложное (уже в XIV веке) письмо брата Илария к Угуччоне делла Фаджьюола; послания Данте к кардиналам, к изгнаннику из Пистойи и флорентийскому другу; «*dissuasiones Valerii ad Ruffinum ne ducat uxorem*»¹⁹ и отрывок Теофрастова τ μ в латинском переводе бл. Иеронима, которым Боккаччо воспользовался в своей биографии Данте и который перевел в комментариях на Божественную Комедию; несколько латинских стихотворений Петрарки, между прочим на смерть Дионисия из Борго Сан Сеполькро; его письмо (1347 года) к Барбату, с эпиграммой о Лелии, и эклогу *Argus*; два стихотворения Чекко да Милето, из них одно в ответ на помещенное вслед за ним послание Боккаччо. С ним мы

вступаем в область личного творчества: рядом с первым наброском III-ей эклоги (*Faunus*, 1347–8 г.) — опыты юношеской поры, вроде стихотворения к усопшей девушке или аллегорического рассказа о Фаэтонте. Может быть, к той же поре относится и биографический очерк Петрарки, предпосланный его пьесам: в нем есть хронологические недосмотры, заметка составлена по слухам, о Петрарке сказано, что он доньше написал Африку, диалог в прозе и другое; биография Петрарки, заведомо написанная Боккаччо в 1348–9-х годах и также заглазно, отличается большею точностью. — Вместе с этим пестрым литературным материалом, обличающим любовь к Данте и Петрарке, двумя астрономическими трактатами Андалоне ди Негро, учителя Боккаччо, и заметкой о мнимой эпитафии Ливия, открытой в Падуе — несколько юношеских писем поэта: к Заноби да Страда, к Карлу, герцогу Дураццо (1339-го года), к двум анонимам, к какому то военному человеку, также не названному. В заголовке или заключении писем, как и в конце аллегорического рассказа, можно еще прочесть выскобленное имя: *Iohannes de Certaldo*; очень вероятно, что имя было уничтожено позднейшим владельцем рукописи, каноником Антонио Петрей, когда при папе Павле IV Декамероп попал в список запрещенных книг. Весь характер сборника указывает на литературные вкусы и отношения Боккаччо, два греческих алфавита и копия с одной греческой надписи напоминают эпиграмму в списке Теренция: первые неловкие шаги в область незнакомого языка и грамоты.

Если в Теренции Лауренцианы и описанном нами сборнике (с л. 44 об.) признать руку самого Боккаччо, то следующий был писан не им, но для него и под его руководством. Это его ученый *carnet*²⁰, то, что итальянцы зовут *zibaldone*. Сохранились такие *zibaldoni* Саккетти, Антонио Пуччи и друг.; они позволяют нам заглянуть в рабочую их авторов-составителей, разъяснить, что и как они читали и что отмечали себе на память. В этом главный интерес черновой тетради Боккаччо. Писана она по большей части одной рукой; вторая является кое-где в промежутках, может быть, под руководством первой; наконец, есть следы и третьей, позднейшей. Первых листов до 20-го в рукописи недостает, но, вероятно, и они заняты были компендием всеобщей истории, продолжающимся на следующих листах: компендием несколько внешним, собранным из разных источников, в извлечениях и пересказах, с попытками критики и отметками на полях, исправляющими текст; черновая работа человека, желающего сознательно усвоить и упорядочить для себя материал доступных ему исторических сведений. С 20-го листа

идут извлечения из книг Цезаря *De bello civili* и из *De bello gallico*, приписанной Ирцию; под влиянием Орозия Боккаччо приписывает ту и другую Светонию, но не автору жизнеописаний Цезарей, а, вероятно, его прадеду, рассчитывает он.²¹ Далее следуют, в порядке хронологии, биографии Цезарей по действительному Светонию, но и здесь и там к основным текстам присоединяются справки из Лукана, Флора, Евтропия, Орозия и Иосифа Флавия, их показания сравниваются и делается выбор. «Светоний (т. е. предполагаемый) и Лукан мне подозрительны, говорится в одной глоссе, ибо порой они молчат о том, о чем следовало бы сказать, и преувеличивают маловажное»; либо отвергается рассказ Евтропия, потому что Светоний (настоящий) ему противоречит. Когда кончился этот источник, составитель ведет рассказ по Евтропию, Орозию и Евсевию; иссяк Евтропий, «истории которого я подражал», рассказ следует Павлу Диакону, Орозию и, наконец, Мартину Полону — до л. 92 об., где остановилась рука первого переписчика, предоставив другому продолжать извлечения. Но он не рассчитал необходимого для этого числа листов; по мере того, как являлся новый материал чтения, он вносил заметки в разные места своей книги, оставляя чистые листы для продолжения, иные не записывая вполне с той же целью. Так его рукой уже написаны были листы 98–124-й, когда вторая рука, продолжавшая с 92-го листа извлечения из Мартина Полона, дойдя до 97-го, принуждена была остановиться за недостатком места и отнести читателя к 125-му листу, где мы и найдем окончание черного исторического компендия. Этой второй рукой написано, быть может, несколько строк на л. 162 об. и, в конце сборника, письмо Петрарки к Аччъяйоли; все остальное принадлежит первой руке. На л. 98 лиц. помещено хронологическое исчисление, долженствующее доказать, что Христос родился 25 марта в пятницу и лет его жизни было 33 года и три месяца. Эта статья подписана: *Iohannes de Certaldo*; мы узнаем старые астрономические и хронологические вкусы Боккаччо; но статья перечеркнута на крест и имя выскоблено, хотя его еще можно прочесть; может быть, своей выкладкой Боккаччо остался недоволен, и это тем вероятнее, что на 100-м листе помещен отрывок из Мартина Полона по тому же вопросу. — Следует речь Заноби да Страда, о которой Боккаччо писал автору в письме от 1348 года, что он не только читал ее, но и списал для себя. Разумеется, вероятно, копия, внесенная в разбираемую вами записную тетрадь. Далее: письмо Боккаччо к Заноби (1353 года), подписанное: *Iohannes de Certaldo Zenobio da Strata*; на л. 118 лиц. отрывок другого письма, очевидно к тому же лицу. На следующих

листах мы встречаем выписки из Фульгенция, Саллюстия, Плиния Секунда, Сенеки, Овидия. Из Саллюстия приведена греческая надпись, бывшая в Дельфах и затем перенесенная в Рим, как и ранее того в извлечениях из Светония скопированы греческие слова: *Cornix in Capitolio locuta est ἔσται πάντα καλῶς*²². Занятия с Варлаамом оставили свои следы. Характерна выборка афоризмов из Сенеки, распределенная по рубрикам: о бедности и т. д.; писано в два столбца и столбцы не заполнены — ожидалось новые приращения; так составлялись флорилегии, выборки общих мест из классиков, которыми гуманисты расцвечивали излюбленные ими этические темы. — Две статьи указывают на мифологические штудии Боккаччо к его Генеалогиям богов; это генеалогия людей и богов по Павлу из Перуджии — не извлечение из его *Collectanea*, а принадлежащий ему же компендий — и родословная богов по Франческо дельи Альбицци и Форезе Донати. На л. 123 след. выписана реляция флорентийских купцов из Севильи об открытии в 1341-м году Канарских островов; на полях пометка той же рукой: что начальствовал кораблями флорентинец Теггья деи Корбицци. Эта статья отвечала географическим интересам Боккаччо, как и рассказ о странствованиях Гайтона Армянина. — С листа 164 лиц. начинается выборка из хроники венецианца Паолино, епископа Пуццольского, с такой его характеристической: какой-то венецианец, монах орденов эремитов, пуццольский епископ при короле Иерусалима и Сицилии, Роберте, затеял написать — конкорданцию ли мировых царств и царей, либо скорее лабиринт аннал, путая все, часто выдавая ложное за истинное, а иногда сообщая кое-что, заимствованное из неизвестных мне авторов, может быть, и достоверное. Если мне придется брать у него сведения, не встретившиеся мне в других источниках, я буду цитовать его, как венецианца, *venetus*. — Эта характеристика поражает откровенностью недоверия, и критик проявляет его на каждом шагу, глумясь над бедным венетом, иронизируя и бранясь: он у него и беспамятный, и дурак, и маратель; его не поймешь, будь он проклят; или: на этот раз венет приложил к рассказу все свои старания; или: Боже мой, как нескладно и неладно говорит этот пакостник венет!. — Извлечения из него вызвали добавления: так по поводу родословной французских королей сказано, что Филипп VII, вероятно, отец нынешнего короля Иоанна, с пометкой 1356-го года; царствующим королем Неаполя назван Людовик (1352–1362), а список замечательных людей умножен указанием на ближайших по времени и современников: Данте, Муссато, Чино из Пистойи, Петрарку, Заноби де Страда, Павла

Геометра, Джьованни Виллани, Джьотто, Дино дель Гарбо, юриста Дино де Розоно, скульптора Джьованни из Пизы, Альдобрандино Оттобони — второго Фабриция, Коппо Боргези Доменики, флорентийца, преданная республике и блюстителя нравственности и др.

Мы познакомились с содержанием рабочей тетради Боккаччо. Она составлялась разновремененно и врозь: послание Заноби могло быть внесено в нее в 1348-м году; вскоре после того мифологические трактаты Паоло, Альбицци и Донати, помещенные через несколько листов; если они записаны были, как материалы для Генеалогий, то последние начаты были, вероятно, в 1350-м году. К 1351-му относит нас следующее: на л. 49 лиц. говорится о Тите Ливии, «*cui in scribendo ystoriam nemo conferri potuit*»²³ — и о мнимой его эпитафии, открытой в Падуе, в монастыре св. Юстины; те же сведения занесены, как отдельная заметка, в описанный выше сборник Лауренцианы, где приведена и самая эпитафия; понятно, что Боккаччо не повторил ее в своей рабочей тетради, но воспроизвел в дошедшей до нас коротенькой биографии Ливия, при чем встречается в характеристике последнего та же фраза, что и в тетради: *nes quemquam eo scribente secum conferre potuisse*²⁴. Ясно, что биография и соответствующее место исторической компиляции стоят в связи; 1351-й год, как хронологическая точка отправления, получается из заметки рабочей тетради на л. 70 лиц.: что св. Лаврентий пострадал не при Деции, как писал Евтропий, а при Галиэне, «как я нашел в пассионалах святых в Падуе, в монастыре св. Юстины»²⁵. В 1351-м году Боккаччо провел несколько дней в Падуе, в гостях у Петрарки; тогда же он мог видеть в монастыре св. Юстины и мнимую эпитафию Ливия.

Упоминание короля Иоанна с 1356-м годом не мешает предположению, что в записной книге Боккаччо отдельные заметки могли быть вносимы и после этого года, но их хронологию трудно уследить. На л. 194 лиц. и 207 об. говорится, что Констанция была дочерью Руджьера, что исторически верно; это повторено в *De Casibus*, с замечанием, что, по мнению иных, Констанция была дочерью Вильгельма II; ясно, что соответствующее место в *De Claris mulieribus*, где приводится лишь последнее сведение, написано раньше заметки в *zibaldone*, и остается объяснить забывчивостью Боккаччо, если он не исправил в последнем труде, составленном в 1357–63-х годах, что исправлено в *De Casibus* (от 1356 — до 1363–4-го года), писанном почти одновременно.

Но мы можем ограничиться и теми хронологическими данными, которые сообщает *zibaldone*: от 1348-го года (речь Заноби) до 1356-го

(упоминание царствующего французского короля), в течении восьми лет, если не более, они раскрывают нам ученый *intérieur* Боккаччо, знакомят с вопросами, которые его интересовали, с приемами его работы, работы ощупью, без руководства, где часто инстинкт заменял критику. Вспомним, что это годы перелома, когда дописывался Декамерон, поднимались против него голоса серьезных людей, и сам автор переживал эпоху Корбаччо. От амурной поэзии он переходил к науке, собирает материал для своих латинских трактатов; Генеалогии Богов уже заказаны ему королем Гуго; некоторые сведения, записанные в *zibaldone*, повторяются не только в них, с такими же нелестными эпитетами по адресу «венета», но и в *De claris Mulieribus*, в *De Casibus* и в комментариях на Божественную Комедию, с поправками, уже сделанными на полях записной книги. Так анекдот, рассказанный «венетом» о Диогене, вызвал исправление, что он относится к Гомеру, Тотила у Мартина Полона — замечание, что это имя ошибочно вместо Аттилы; в комментариях все это принято во внимание.

